

— Ваня, сыграй,— елеино просили истомившиеся бабы Ваню-Зиряна. Играл он так себе, но выкобениваться любил. Только притворной лестью и можно было его взять.

На этот раз, к удивлению всех, он не стал артачиться — видно, происшествие сбило его с толку.

...Топотуха! Сколько лет прошло, а послевоенная деревенская топотуха всё стоит в ушах — с припевками, с вышитыми платочками в руках женщин, которые время от времени вытирают ими пот с лица. Пол ходит ходуном, печка-голанка трясётся, пошла щелями, готова развалиться — за такое дело хозяйка глаза бы выцарапала, а сейчас и сама вошла в раж: и круги в глазах, и качается потолок.

Парфёныч не выдержал, вышел из-за стола и вприсядку. И нет уже свободного места на полу, в сторону отброшена скамейка, придвинут к стене и задний стол. Сбивается с такта уставший Ванька, пот льёт с лиц пьянущих и спины мокрые, а остановиться никак не могут. На полуаккорде обрывает Ванька игру и тянет руку за стаканом с брагой.

Сидел Тимофей Гаврилыч в углу, смотрел, слушал и вспоминал, как три года назад испугала его такая же вот топотуха, впервые увиденная им, страшно сделалось от того остервенения, с каким отдавались ей бабы. Потом понял: горе, горькое горе вышло на круг и затопило, захлестнуло избу. Оно копилось всю войну, весь предшествовавший празднику год, оно заполнило бабы сердца скляно\* и вот выплеснулось наружу. Так прорывается нарыв — больно, противно, страшно, но исцеляюще, врачующе.

И ещё заметил Тимофей Гаврилыч, что в этой неистойой топотухе участвуют все бабы — все до единой, даже вроде Валюхи, Осипа-Гусара дочери, хотя какое у неё ещё горе. Чудились в этом Тимофею Гаврилычу не-

\* Скляно — до краёв.

кие истоки женской солидарности, желание разделить горе на всех, дабы не сломались те, на кого выпало его больше. Пляшем себе, и только. Сами себе бабы, сами себе мужики, сами себе хозяева!

Да, послевоенная — безмужицкая — бабья топотуха. Как вспомню, обрывается сердце...

Вечеринка была в разгаре. Теперь уже никто никого не угощал, каждый наливал себе сам, закусывали тем, что ещё осталось на столах. Ушёл домой с женой Настей весь вечер молчавший Тимофей Гаврилыч. Видать, неприятная стычка Фёдора с Василием его расстроила, и он оставил вечерку раньше обычного.

Вернулся с улицы выведенный проветриться туда Осипом-Гусаром Василий.

«Очухался,— отметила Варвара,— наверняка ничего не помнит».

Но ход её мыслей перебила Валюха. Ваня заиграл подгорную, и она, отбивая каблуками по полу, подлетела к Варваре — товаркой выбрала.

Подгорная — это уже соревнование, это уже вызов, кто кого перепойёт-перепляшет. Одним словом, кто кого перебьёт. Наверно, не резон был ей, тридцатилетней, выходить на круг с семнадцатилетней Валюхой, но загляделась она на Василия с Осипом и не успела вовремя, когда только заиграли подгорную, подальше за стол сесть. А теперь поздно, теперь хочешь не хочешь, надо выходить, а то сочтут, что струсила. А она не из таких.

«Ты подгорна, ты подгорна, зелёная улица...» — подлетела Валюха. Глазёнки блестят, и решимости в них прямо-таки что у доброго мужика, а не у девчушки молоденькой.

Варвара в довоенные годы тоже плясуньей была, всех переплясывала — об этом Валька слышала, наверно. Но сейчас годы не те, да и настроение что-то неважное.

Вышла Варвара в круг медленно, как бы нехотя, по-

качивая плечами, — знала, прытью не взять, надо умом, статью.

«Ты товарочка моя, товарочка любезная...»

Хорошо Валюха пляшет: дробь бьёт, аж печка дрожит. На каблуках надо дробь дробить — всё дело в этом. И когда только научилась! Вишь, как тело с развитыми грудями откинула назад, а бёдра чуть вперёд. И кто только учит их, пичужек.

Бабы окружили кольцом, сравнивают выход каждой: Валюха прытью берёт, напором, а Варюха поосанистее, поплавнее голову несёт, как барыня.

— Ну, Валюха, переплясала ты меня, — устало охнула Варвара и, обмахиваясь платком, села на лавку.

Посмотрела в глаза Валюхе: довольна, но мало ей — жёсткие угольки светились в глубине её зеленоватых кошачьих глаз.

«И все ж она на меня зла, что я ей сделала?» — снова подумала Варвара, отводя взгляд от Валюхи.

Опять все расселись за столы. Теперь столы, как щербатые рты, зияли пустыми местами — видать, многих укачала Аграфенина бражка. Всё бы ладно — не было мужиков, да и эти не мужики — без них напеться-наплясаться можно. Но вот Ванька упился зря — кто теперь играть будет?

— Ясное дело, — загудел Парфёныч, — спеть надо, бабы.

Дмитрий Парфёныч, надо сказать, любил и умел петь. Голос у него был густой, сильный, настоящий бас, а когда он поднимал его до самых верхов, в окнах звенели стёкла и начинала мигать керосиновая лампа. Голосом своим Парфёныч гордился и праздник не считал праздником, если там не пели. Правда, не любили его бабы за хозяйские замашки в выборе песен и за «церковные» низы его баса.

Параня ругалась:

— Ты чего это, Митрий, как из подполья гудишь?!

— Ясное дело, у меня голос не то что у тебя, прищеми хвост.

На этот раз сошлись на ямщицком «Степь да степь кругом».

Хорошо рокотал Дмитрий Парфёныч, шёлковым мхом стелил свой бас под звонкие женские голоса. А у Валюхи-то какой голосище! И уж, кажется, некуда выше, а она звонким жаворонком над всеми повисает: песня вроде уже стихла, а её голос всё будто ещё звенит. Верно, в ушах у всех остался её колокольчик.

Песни песнями, а о гармонии заскучали женщины — надо же, напился Зирян. Пока пели, никто гармошку не брал, а потом смотрят: взял её Сергуня и потихоньку пристраиваться начал, лады перебирать.

— Давай погромче! — закричали кругом.

— Нам лишь бы чё-нибудь пилил, пьяные все, сойдёт!

Несмело, робко повёл тему, а потом, подбадриваемый вниманием, осмелел, растянул меха пошире. И услышали все — вальс играет Сергуня, «На сопках Маньчжурии». Тут даже Ванька-Зирян хотел было приподняться, да не смог, прохрипел только что-то и опять мордой в стол.

Мишка с дружками возле окон толкался, в дверь заглядывал — нет в деревне ребятишкам слаще занятия, чем на свадьбу да на вечерку глаза пялить. Удивились все, что Сергуня играть может. А Мишка нет. Он знал, что Сергуня ходит к деду Гарасиму и учится играть на хромке. От дядьки Николая она осталась, от сына бабушки Гарасима. Гармонистом Николай слыл заядлым, дед любил его слушать. Погиб на войне Николай, и Гарасим никому его хромку не доверял. Долго не давал и Сергуне, но Мишка и тут влез, просить за него начал. И сдался Гарасим, снял с полатей хромку. И теперь Мишка хвастался перед ребятами: «Я-то эти “Сопки” слышал».

Вальс или какой другой «городской» танец на вечерках и свадьбах в Шестепёровке в ту пору ещё не прижил-

ся, хотя Сеня-ленинградец одно время очень старался: не было в деревне мало-мальски стоящей солдатки или девки, которую бы он галантно не приглашал на вальс. Варвару само собой. Может, и прижились бы Сенины вальсы и фокстроты, но уехал он сам, и дело захирело: ни один деревенский парень танцевать их не мог, больше того, считал это позором.

Без дела играет Сергуня — всё равно плясать некому, решили все, а тут глянь: Василий Голиков встаёт с лавки — очухался, похоже, парень — и направляется к Варваре. Подходит стеснительно так — разрешите, мол, пригласить на вальс. Удивил всех: вишь, нахватался на службе, ведь пень пнём был парень.

Лестно Варваре и страшно: а ну как опозорится? Пошла всё же. Правда, кавалера поматывало — видать, ещё бродила Аграфенина брага в Василии, легко от неё не отделаешься.

А все смотрят: кто с любопытством, кто с удивлением, кто ревниво. Обычные, в общем, взгляды. Глянула и Варвара на Вальку и обомлела: как угли глазищи горят, а в них такая злость, ну прямо ненависть! И осенила её догадка: «Ведь влюбилась, горячая голова, в Василия! Вот почему и в перепляс пошла — доказать решила, чего стоит. Ох, Валюха, Валюха...»

Нехорошо стало у Варвары на душе, а тут ещё Василий наступил на ногу своим сапожищем. Чуть не вскрикнула от боли — медведь проклятый. Еле дождалась конца длинного вальса. Почувствовав неладное, и Василий сник.

— Молодчина ты, Варя, — шепнула ей Анисья, — нечево поддаваться этим молодяшкам, рано они нас на лом списали.

И хитро улыбнулась, показав ямочки на щеках.

«Какая красивая сегодня Анисья, — заметила мысленно Варвара. — Да и других баб будто подменили — румяные, ласковые. А мужиков — ни одного. Тьфу, будь

всё проклято! И эта пичуга туда же, — недобро подумала она о Валюхе Старковой. — Для тебя нарастут женихи да ухажёры, а вот для нас не будет мужиков...»

Стали расходиться — пора. Сергуня с матерью домой пошёл.

«До чего же тихий парень, — подумала Варвара, — ведь семнадцать уже, а он — как телёнок. С матерью домой пошёл. Степан-то в семнадцать мне проходу не давал, а в восемнадцать поженились».

...Не успела Варвара поднять щеколду, в ворота войти — Василий! Ждал ведь!

Быстро справилась Варвара с охватившим её испугом — соседи-то что скажут, если увидят. Ему же, дураку, хуже будет.

— Ты бы хоть пиджак надел, а то ведь от Гурьянихиного двора на том конце тебя видать. Солдат, называется.

— Это я для тебя... холодно... вон на баклане\* лежит, — мямлил Василий. — Давай посидим, Варя.

— А пиджак надень, не замёрзну.

— Напился я сёдни зря, — не зная, с чего начать, о чём вести разговор, буркнул Василий.

— Да уж, напился ты не в образ, что только головой думал.

— А не напился бы, тебя плясать не позвал, побоялся бы.

Чувствуя, что нить разговора ускользает из её рук, что Василий сейчас начнёт говорить такое, о чём пожалеет потом сам и что не будет давать покоя ей, Варвара перевела разговор на другое:

— А на Фёдора налетел — помнишь? Может, тоже из-за меня?

— Помню, ты тут ни при чём, а он паразит и есть. И дезертир, ты это сама знаешь.

— Мало ли что я знаю, а молчу. Ты, может, вот зав-

\* Баклан — деревянный чурбан.



тра по всей деревне разнесёшь, что Варюху провожал...

— Что ты, Варя, да разве я...

— Ладно-ладно, хороший, только кости-то мне не ломай. Кто за меня работать будет?

— Варя, какая ты...

— Знаю, что плохая, — убирая с плеча руку Василия, усмехнулась Варвара. — Да нельзя мне хорошей-то быть — одна я, а жить надо. А сколько за эти годы хороших приходилось выпроваживать.

— Варя, да я ж...

— Да не о таких, как ты, речь... Ты, Вася-Василёк, молодой петушок, — и она засмеялась чисто и звонко, будто серебро рассыпала. И на Василии словно куржак\* растаял, ожил он, заулыбался.

— Ладно, иди, Вася, мне завтра рановато вставать, печь топить, корову доить...

И она потянулась, показывая, как ей спать хочется. Вышло это у неё — она сама поняла и почувствовала — так соблазнительно и откровенно, что Василий не выдержал, обнял её.

«Зачем это я так делаю, зачем дурю парню голову, ведь чистенький он, как его германская рубашечка».

— Всё, пошла я, Василий, — разом погасила Варвара в груди огонёк. — А ты будь поосторожнее с Фёдором, он не таких, как ты, в бараний рог свёртывал... Да не хорохорься, — перебила она пытавшегося что-то ей возразить Василия, — добра тебе хочу.

С последними словами хлопнула за ней калитка.

...Мишка давно спал, Варвара придвинула его поближе к стене, легла рядом и обняла его горячие плечи: «Сыночек ты мой родненький, ни на кого я тебя не смеяю. Стёпушка любимый, никого мне не надо, тебя жду и буду век ждать». Из глаз неудержимо хлынули слёзы — она уткнулась лицом в подушку...

Кончился этот длинный счастливый день.

\* Куржак — иней.